

УДК 821.161.1

ДИАЛОГ ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ Л.Н. ТОЛСТОГО И А.Т. ТВАРДОВСКОГО

© 2010 С.Р. Туманова

Российский университет дружбы народов

Поступила в редакцию 11 июня 2010 года

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы общности взглядов двух великих русских писателей Л.Н. Толстого и А.Т. Твардовского на основные философские вопросы бытия: жизнь и смерть. Прослеживаются параллели в их понимании таких категорий, как истина, одиночество, труд, творчество, раскрывающих основной конфликт жизни и смерти. Для анализа впервые используются заметки Твардовского на полях дневников Толстого.

Ключевые слова: жизнь, смерть, истина, ужас, одиночество, труд, творчество.

Abstract: The article explores the issues of commonality of views of two Great Russian authors Leo N. Tolstoy and Aleksandr T. Tvardovsky on fundamental philosophical issues of being: Life and Death. A parallelism of their attitudes towards notions that define a basic conflict between Life and Death—truth, solitude, work, creativity—is studied in the article. The article draws on the first-ever research of Tvardovsky's notes on the margin of Tolstoy's diaries.

Key words: life, death, truth, horror, solitude, work, creativity.

А.Т. Твардовский — поэт, не связанный ни с одним литературным направлением своей эпохи, стоящий особняком, хотя и прямой наследник Пушкина, Тютчева и Некрасова. «Не надо подыскивать ему место где-то на обочине Серебряного века, — замечает В. Акаткин, — он полноправный представитель века Золотого, стойкий и мужественный продолжатель его дела» (1). При попытке выявить общие черты Л.Н. Толстого и А.Т. Твардовского на первый план выходит анализ тем и мотивов их произведений, рассматривается общность их идейных взглядов, затем всплывает более глубокий пласт — эстетические воззрения художников, особенности их поэтики. Однако этого недостаточно для того, чтобы понять, что может роднить двух с первого взгляда таких непохожих художников, живших в разные эпохи, творивших в разных литературных жанрах (проза и поэзия), с их очень разными художественными возможностями и задачами. Необходимо про-

никнуть в основу мировоззрения, узнать их отношение к вечным вопросам бытия и, в частности, категориям жизни и смерти.

Твардовский придаёт смерти высокое значение: «Человек, может быть, потому, между прочим, и человек, что он странным образом, готовый примириться и обвыкнуть в отношении любой неустроенности и тягот жизни, не мирится с тем, что для всех равный закон (никто не обижен — разве только в сроках), — со смертью. Казалось бы, как ты смеешь недоумевать и протестовать против нее, когда она не обошла ни Толстого, ни Пушкина, ни Ленина, ни Маркса с Энгельсом, ни чьей силы, величия, власти и страсти!» (2).

Написаны сотни больших и малых работ, в которых исследуется отношение Толстого к смерти. Авторы их единодушны в том, что «предметом, на который неизменно была устремлена душа Толстого, была — смерть — не как метафизически случайный, хоть и неизбежный конец жизни (как у Пушкина), но как её завершение и её отрицание, как загадка, являющаяся загад-

©Туманова С.Р., 2010

кой самой жизни» (3). Твардовский постоянно ссылается на творчество Толстого, читает и перечитывает его произведения: «Вчера – смерть Ив[ана] И[льича] и Крей[цера] соната. – Не столько смерть занимала, сколько тончайшая и точнейшая «конструкция» психоидеологии интеллигентного российского бюрократа» (4). Восхищается их глубиной и объёмностью: «Не только написать «Войну и мир» – подвиг, но и при чтении обнять эту громаду во всем объеме – немалый творческий искус, требующий известной подготовки, жизненного опыта и многократного чтения. Сколько не бывших на памяти у меня троп, закоулков, неожиданных узлов и связок нахожу сейчас, а, казалось бы, все читано-перечитано, знато-перезнато» (4, 2004, 5, 160). С другой стороны, в своих произведениях, рабочих тетрадях, письмах он часто размышляет о том же предмете. «После обычного уныния (не долгого и не глубокого на этот раз) настроение доброе, живу всем телом и духом, все так хорошо, и немного доволен собой, что, как всегда, тревожно. А уж это значит хорошо, если только и остается, что *всегдашняя мысль о смерти* (курсив мой. – С.Т.), – ведь эта мысль только и сопутствует состоянию внешнего удовлетворения и подъема, когда остается вспомнить, что и этому всему свой срок» (2, 9, 160). Эта же мысль звучит и в стихотворении:

Хоть про сейчас, хоть про запас,
Но делать так работу,
Чтоб жить да жить,
Но каждый час
Готовым быть к отлёту.

И не терзаться – ах да ох –
Что, близкий или дальний, –
Он всё равно тебя врасплох
Застигнет, час летальный (5).

Твардовский всегда чувствует необходимость соотносить свои мысли и дела с толстовскими: «Немножко доволен собой – как всегда, когда хоть что-нибудь делаешь, а не только витийствуешь в мечтательных экскурсах. У Толстого молодого в дневниках – это очень частый мотив. Сейчас читаю его по 20-томному собранию – досадны отточия в скобках, не говоря уже о сокращениях не отмеченных – из 13 т[омов] дневников – здесь два» (4, 2002, 5, 162).

Всё это вызывает настоятельную потребность рассмотреть параллели в их позициях.

Предпримем попытку проследить отношение обоих писателей к жизни и смерти в связи с различными событиями и на разных этапах их жизни и творчества.

Многое роднит начинающего Твардовского и молодого Толстого. Исследователи проблемы жизни и смерти в творчестве Толстого указывают на то, что «начал он с ужаса перед смертью, перед её тайной» (3, с.177). Целая цепочка смертей, с которыми связано его детство, навсегда оставили отпечаток в его сознании: «Сперва, ещё до его рождения, – пишет Р. Киреев в статье «Арзамасский ужас», – смерть князя (жениха матери, умершего перед свадьбой. – С.Т.), потом, вскоре после рождения – смерть матери, а ещё через несколько лет загадочная, так до сих пор и не прояснённая до конца смерть отца» (6). «Итак, – подытоживает исследователь, – у истоков его жизни стояла смерть – мудрено ли, что он всё отпущенное ему судьбой время напряжённо думал о ней!» (6, 57). Толстой через 20 лет после этого события напишет повесть «Детство», в которой опишет смерть матери, «ставшую для него своеобразным рубежом» (6, 55). По мнению Р. Киреева, Толстой делает это потому, что понимает, что герой должен был пережить смерть матери «не двухлетним малышом, а уже сознательным человеком» (6, 55).

В жизни Твардовского тоже были смерти, сыгравшие определённую роль. И так же, как у Толстого, была первая в его жизни осознанная смерть деда Гордея. «Я видел смерть, и доля смерти той// Мне на душу мою ребячью пала» (5, 3, 66), – напишет он через много лет в 1951 году, во второй половине жизни в знаменитом стихотворении «Мне памятно, как умирал мой дед». О важности этого события говорит и то, что в плане «Автобиографии» за 1914–1917 годы в первой строке он записывает: «Смерть деда». Но воспоминания были столь сильными и, видимо, важными, что Твардовский через четыре года после написания стихотворения вновь возвращается к ним в своих «Рабочих тетрадях» и записывает все подробности этого столь значительного для потрясённой души маленького мальчика события: «Смерть деда произошла буквально на моих глазах, я помню ее до подробностей, хотя было мне тогда не больше четырех лет» (2, 7, 163).

Смерть матери, которую Толстой переживал в 2-х летнем возрасте, и смерть деда 4-х летнего Твардовского стали для них точкой отсчёта в осознании смысла жизни и смерти.

Почти в одних и тех же словах выражают они своё отношение к смерти. Толстой в повести «Отрочество» пишет: «Все время, покуда тело бабушки стоит в доме, я испытываю тяжелое чувство страха смерти, то есть мертвое тело живо и неприятно напоминает мне то, что и я должен умереть когда-нибудь, чувство, которое почему-то привыкли смешивать с печалью». «Вот это уже Толстой! – восклицает Р. Киреев. – Толстой, который ни на миг не выпускает

себя из поля своего зрения. Внимательно следит за собой, безжалостно фиксируя каждый шаг, каждое движение души — и так всю жизнь. Изощрённейший психологизм Толстого есть не что иное, как следствие этого постоянного выслеживания себя, результат беспрецедентной охоты на собственную необузданную личность, дабы, пленив ее, дикую, намертво скрутить тросами железных правил» (6, 57).

Твардовский с не меньшей глубиной и психологизмом передаёт свои детские чувства: «Помню, что меня все это занимало и глубоко подавляло и утешало. Понятие об ужасном и неизбежном для всех людей, а значит, и для меня, конце просто наполняло меня всего, когда я, отрываясь от той картины, припадал к разостланной на большом «полу» или каком-то полке над ним, вровень с печкой, овчинной шубе и думал, думал: что же это такое, как все это ужасно (Первые попавшиеся слова.)» (2, 7, 163). У обоих писателей на первом месте чувство страха от осознания собственной смертности. Твардовский не случайно указывает в скобках, что это «первые попавшиеся слова». Этим он подчёркивает, что слова точно передают его чувства, возникшие в столь далёком детстве. Кажется, что и Толстой, и Твардовский озабочены тем, чтобы читатели как можно точнее поняли их, и это придаёт особое значение предмету их внимания. Но каковы же установки писателей на жизнь? И здесь вновь мы сталкиваемся с созвучностью их взглядов.

«Да, смерть — моё личное дело, — записывает Твардовский в 34 году в дневнике, — то, с чем нужно встретиться в одиночку, что неизбежно встанет горьким концом жизни. — Но разве страшен этот конец за жизнь — такую, какою она может стать? — Я не буду искать утешений, не буду обманываться. Смерть никогда не будет желанной. И она — из тех вопросов, которые я должен разрешить для себя сам, несмотря на то, что их уже разрешали лучшие из людей.

Большая жизнь и маленькая смерть...

Разве можно было бы не бороться за лучшую жизнь людей, не стремиться к истине из-за того лишь, что я, червяк, умру? — Ниже этого придумать нельзя. Чернышевский, Желябов, Ленин, Горький» (7). Эти рассуждения 24-летнего поэта приводят его к мысли и как следствие к образу жизни, когда главным становится истина или правда, которой он поклонялся и за которую боролся всю жизнь: «да была б она погуще...». Эта же мысль заключена и в ранних произведениях Толстого. Вот что пишет Р. Киреев о правилах жизни Толстого в молодые годы, не сформулированных, но так или иначе высказанных в его произведениях: «Чтобы достойно умереть, надо достойно жить — вот это нехитрое правило» (6,

57). В «Записках маркёра» Толстой высказывает эту же мысль и почти теми же словами, но только в отрицательном построении: «Я ужаснулся, когда увидел, какая неизмеримая пропасть отделяла меня от того, чем я хотел и мог быть». «Откуда эти слова? — задаётся вопросом Р. Киреев — Из дневника молодого Толстого? Из посмертного нехлюдовского письма? Из письма, но и в дневник они легли бы, не нарушив ни стилистики его, ни пафоса, ни даже фактуры, ибо молодой Толстой, подобно своему незадачливому герою, играл много и азартно» (6, 58).

На этом не заканчивается сходство отношения двух великих писателей к смерти. Скорее, только начинается, потому, что они всю жизнь всматривались в неё.

Ещё одна смерть в начале взрослой жизни оказала сильное влияние на Твардовского в плане формирования экзистенциальных черт его творчества — это смерть маленького сына. Рождение сына было для Твардовского большим счастьем и придавало его тогдашнему неустроенному быту не столько дополнительную трудность, сколько отдохновение от мрачных мыслей. «В письме Беку он пишет: «Сын, нужно сказать, удачный. Некоторую несвоевременность своего появления он целиком искупает и даже перекрывает своими наличными качествами. Я при моем теперешнем преобладающем настроении (плохом) прямо-таки нахожу в нем утеху» (5, 6, 9). После смерти сына Твардовским была сделана запись, которую приводит в известных воспоминаниях Мария Илларионовна Твардовская. Убитый горем отец в подробностях старается вспомнить самые счастливые мгновения его общения с сыном (Сашеньке было всего 1,5 года): «Уже пять дней, как нет Саши. Когда с людьми — уже болтаю о делах и т. п. А чуть останусь один — думаю только о нем. Сегодня вдруг вспомнил песенку, которую мы сложили с Валея, забавляя Сашеньку в зимние вечера в нашей конуре:

Раненько-раненько
Встанет наш Санинька
И побежит за водой...
И не помню, как-то:
Санинька, родненький,
Дай нам холодненькой,
Дай нам воды ключевой.

С самого начала хотел записать всё, как пришла одна и другая телеграмма, как ездили хоронить, всё. Но по приезде сразу ничего не получалось. Вырвал начатые листы. Теперь легче и еще грустнее оттого, что уже легче, что всё пройдет и останется житейское воспоминание: умер ребенок. И я этого не хочу. Это был не

ребенок, а Сашенька, мой сынок, мой друг, моя радость. Вспоминаю: я сознавал, я чувствовал, как много он помогает мне в жизни, как много я черпал от его милой, незабываемой доброты и ласковой веселости. И легче переносил свою обидную бесприютность, неудачи, тягости. Это был чудесный маленький человечек, с большой серьезной головкой, синими-синими глазами и весёлыми розовыми полными щечками. А ручки и ножки были крупные, отцовские.

В последний раз видел я его в июле, когда ездил на дачу к своим, — он меня не скоро признал, но потом признал и стал ласкать меня, баловаться; я ложился на полу в избе, а он с разбегу наваливался на меня своим смешным большим животиком, вползал на грудь, шутливо кусался, измазывал всего слюнями, непрестанно повторяя: па-па, паппа, паппа...

Но мы скоро уехали — и прощанье мне запомнилось смутно» (8).

Подробности, которые вспоминает Твардовский, возвращают его назад, и ему хочется остаться там, задержаться, понять, осознать произошедшее, изменить его, но от этого только еще больше его одолевает горе. Он пишет Маршаку: «Дорогой Самуил Яковлевич, нет сил передать, что пережито за эти дни. Меня просто убивает мысль, что мы потеряли нашего дорогого мальчика из-за проклятой неустроенности, когда мы вынуждены были то того, то другого ребенка оставлять вдалеке. А с другой стороны — лучше б я бросил и «Гайдамаков», и всё, но не оставлял бы Сашу в Смоленске (оставался он там всего 12 дней), в Москве он бы уцелел. А там его уморили в больнице (теснота, невнимательность, — положен он был в коридоре).

Жена так убита горем, что еле ходит. Она словно предчувствовала; приехала из Смоленска с Валею (думали, вот-вот квартира, либо что-нибудь) и все плакала, мучилась, что Саня остался, а я говорил ей: потерпим еще, подождем. А вышло, что увидели мы его только в гробике. День этот на всю жизнь — как гробик заказывали, как хоронили и прощались с ним» (5, 6, 360).

Исследователями уже была замечена у Твардовского необычная подробность в описании своих чувств в этот период и даже «жутковатая зоркость, по словам Македонова, — с которой через пять дней после смерти маленького сына художник фиксировал все детали» (10). И это вновь обращает нас к Толстому. Вот что пишет Бицилли по поводу описания Толстым смерти брата Николая: «С мучительным любопытством вглядывается Толстой в умирающее, в отход человека от жизни, обращение его в ничто». (3, 178). И далее по поводу болезни Софьи Андреевны, которая почти умирала: «Всма-

ваясь в то, как умирают близкие люди, Толстой как бы сопричащается таинству смерти» (3, с. 180). Р. Киреев приводит слова М. Горького о том, что Толстой «с величайшим напряжением всех сил духа своего одиноко всматривался в «самое главное» — в смерть» (6, 67). В. Шкловский пишет: «...Как у писателя, у Л.Н. Толстого был и особый интерес к смерти. Он не раз навещал умирающих больных и проникновенно всматривался в их лица, глаза, пытаясь познать границу между жизнью и смертью» (10).

В строчках Твардовского о смерти и похоронах сына стоит выделить несколько моментов. Он признаётся, что желание записать о случившемся сразу же после события наталкивается на невозможность этого: «С самого начала хотел записать всё, как пришла одна и другая телеграмма, как ездили хоронить, всё. Но по приезде сразу ничего не получалось. Вырвал начатые листы». Записи он делает через пять дней. Толстой, у которого умер младший семилетний сын Ванечка, также размышляет о том, что он значил для отца, в дневнике через 17 дней он записывает свои впечатления почти теми же словами: «Так много пережито, пережито, пережито за это время, что не знаю, что писать» (10). Для Твардовского важно не забывать умершего ребёнка, его индивидуальность, его уникальную личность, причём эта мысль ему приходит сразу же после похорон: «Теперь легче и еще грустнее оттого, что уже легче, что все пройдет и останется житейское воспоминание: умер ребенок. И я этого не хочу. Это был не ребенок, а Сашенька, мой сынок, мой друг, моя радость» (8, 43). Толстой записывая, что через «несколько дней после смерти Ванечки» «стала ослабевать любовь», в скобках замечает: «(то, что дал мне через Ванечкину жизнь и смерть бог, никогда не уничтожится)». Мысль о том, что ребёнок играл особую роль в жизни обоих писателей, они выражают по-разному, но и Толстой и Твардовский указывают на важность этого в плане улучшения себя. Для Толстого это приближение к Богу: «Смерть Вани была для меня как смерть Николеньки, нет, в гораздо большей степени, проявление бога, привлечение к нему. И потому не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжелое событие, но прямо говорю, что это (радостное) — не радостное, это дурное слово, но милосердное от бога, распутывающее ложь жизни, приближающее к нему событие» (11, 20, 11). Для Твардовского рождение ребёнка — преодоление «обидной бесприютности, неудач, тягости» и привнесение в «преобладающее настроение (плохое)» «милой, незабываемой доброты и ласковой веселости». «Да, жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда умираю и я» (11, 20, 11).

Это самое известное изречение Толстого о жизни отчёркнуто Твардовским в дневнике Толстого и, по свидетельству коллег и дочерей поэта, часто им повторяемое в жизни. Жизнь на острие, на грани, в состоянии внутреннего напряжения и готовности к смерти — вот жизненное кредо двух великих писателей.

В творчестве Твардовского ребёнок и смерть оказываются ядром сюжета такого известного произведения, как поэма «Дом у дороги». Борьба жизни со смертью в поэме приобретает такой накал, какого не было ни в «Василии Тёркине», ни в лирике военного времени. Человек везде оказывается на грани жизни и смерти, однако в поэме «Дом у дороги» разговор ещё острее, потому что идёт он о ребёнке. Здесь слышны отголоски трагедии, случившейся в жизни самого поэта — смерти его маленького, горячо любимого сына Саши. В жизни победила смерть — ребёнок умер, в поэме победила жизнь. Экзистенциальная ситуация в жизни оказывается разрешённой в пользу смерти и остаётся в подсознании поэта незаживающей раной. И он бросает вызов смерти и побеждает её творчески.

В размышлениях Толстого, записанных в дневнике об одиночестве и смерти, Твардовский отчертил только одну строчку «На миру смерть красна». Однако, прочитав весь абзац, можно утверждать, что почти все мысли, заключённые в этой записи Толстого, созвучны переживаниям Твардовского: «Всякий человек закован в свое одиночество и приговорён к смерти. “Живи зачем-то один, с неудовлетворенными желаниями, старейся и умирай”. Это ужасно! Единственное спасение — это вынесение из себя своего “я”, любовь к другому. Тогда, вместо одной, две ставки, больше шансов. И человек невольно, стремясь к этому, любит людей. Но люди смертны, и если в жизни одного больше горя, чем радости, — то тоже и в жизни других. И потому положение все то же отчаянное. Только и утешения, что на миру смерть красна. Одно полное спасение была бы любовь к бессмертному, к богу. Возможна ли она?» (11, 20, 156).

Для Твардовского трагизм смерти заключается не столько в физическом конце, сколько в одиночестве человека перед лицом смерти. Этот мотив появляется в раннем творчестве и, как показывает дальнейшее, выявляя многие индивидуальные черты его мировосприятия. В статье о поэме «Дом у дороги» Л.В.Полякова замечает, что «эволюционируют в поэме не только характеры, отдельные образы, но и мотивы, почему они и обретают черты концептуальных обобщений, в процессе лиро-эпического повествования вырастающих до масштаба идейно-художественных символов» (12). Эту особенность поэмы можно спроециро-

вать на всё творчество Твардовского. Так эволюционирует у него мотив одиночества. Возникнув ещё в 17-летнем возрасте как личное переживание в результате известного конфликта с отцом, чувство одиночества прорывается в дневниковых записях: «Проклятое одиночество, — пишет Твардовский 5 апреля 1927 года, — Оно заставляет меня мысленно вымерять жизнь. 25-30-38 лет — всё, ожидать нечего» (7, 300). Отражением этого переживания становится стихотворение «Перевозчик», в котором старость, смерть и одиночество определяют ценность человеческой жизни. В этом же стихотворении появляется мотив переправы, также в дальнейшем связанный с мотивом смерти, что свидетельствует об определённых чертах экзистенциального сознания Твардовского.

Та же мысль об ужасе (именно это слово употребляет и Толстой) одиночества перед лицом смерти звучит и в воспоминаниях Твардовского о смерти сына, которая стала ещё трагичнее (если это вообще возможно) именно потому, что он оказался один без родителей в момент смерти. Несколько раз повторяется в записи о смерти сына слово один: «Оставили мальчика одного...», «нас ужаснуло, что он в больнице один маленький...», «всё, сынок... — сказал я, и мы поспешили к машине, а мальчик наш остался один» и созвучное ему слово «покинутый»: «Взглянули ещё раз на него, как он лежит, бедный, обиженный, покинутый мальчик с цветком в руках (он очень любил цветочки — особенно любил обдувать одуванчики) и закрыли» (8,47). И этот образ цветка в руках мертвого мальчика переходит в поэму «Дом у дороги» и становится знаком жизни, победившей смерть:

И дочка старшая в дому,
Кому меньшого нянчить,
Нашла в Германии ему
Пушистый одуванчик.

И слабый мальчик долго дул,
Дышал на ту головку... (5, 2, 110)

Начиная рассказ о ребёнке, который родился в неволе, Твардовский как заклинание повторяет слова: «И начал жить, пока живой, жилец тюрьмы с рожденья». Живое и мёртвое с самого начала существует в оппозиции:

Живым родился ты на свет,
А в мире зло несытое.
Живым — беда, а мёртвым — нет,
У смерти под защиту (5, 2, 372).

В монологе от имени ребёнка, в 16 строфах, слова с корнем *жизнь* встречаются 9 раз: жизнь

— жить — жить — живая — выживешь — выжить — жить — житель — жить. И ни одного с корнем смерть! Хотя смерть была несравненно ближе, чем жизнь. В поэме «Дом у дороги» жизнь побеждает именно потому, что содружество людей даже в самых жестоких условиях плена помогло выжить крохотному ребёнку.

Во многих произведениях Твардовского одиночество становится символом смерти и определяет поиски смысла жизни. Выход поэт находит в общности людей. Если в дневнике 1934 года Твардовский утверждает: «Да, смерть — мое личное дело, то, с чем нужно встретиться в одиночку, что неизбежно встанет горьким концом жизни» (7, 328), то в 1951 году в стихотворении «Мне памятно, как умирал мой дед» он пишет:

Я полагаю, что и мой уход,
Назначенный на завтра иль на старость,
Живых друзей участие призовет —
И я один со смертью не останусь (5, 3, 67).

В одном из вершинных произведений его лирики стихотворении «Две строчки» вновь соединяются два образа — смерти и одиночества, а тело погибшего солдата, напоминающего ребёнка (Лежало как-то неумело // По-детски маленькое тело), усиливает накал трагичности, который доходит до наивысшего предела:

Среди большой войны жестокой
С чего — ума не приложу, —
Мне жалко той судьбы далёкой,
Как будто мёртвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примёрзший, маленький, убитый,
На той войне незначительной,
Забытый, маленький лежу (5, 3, 121).

Определяя для себя смысл жизни, Твардовский в 1966 году делает это на фоне известного толстовского образа, выраженного словами «арзамасский ужас»: «Странно: давно знаю, мог употребить в разговоре понятие «арзамасский ужас», а только вчера прочел набросок «Записки сумасшедшего» Л. Толстого. Вычитал оттуда Маше, — она сказала, что испытала это однажды во всей остроте, по-видимому, в связи с женским возрастным рубежом. Я — неоднократно, в последнее время довольно часто. Прочел, стало легче — значит, и это может быть выражено, а следовательно, и побеждено.

В этом, пожалуй, и есть смысл и радость жизни, что в ней дано нам познавать, постигать и преодолевать (постигая ее ужас) этот ужас» (4, 2002, 4, 158).

«Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится её, тому принадлежит всё!». Эти слова Толстой вкладывает в уста Пьера Безухова. Так, по мысли обоих писателей, в преодолении ужаса смерти заключается смысл жизни.

Если Твардовский возникновение «арзамасского ужаса» у Марии Илларионовны приписывает возрасту, то частое появление этого чувства у него самого он никак не комментирует. Однако многое могут объяснить записи этого времени.

«Последнее время», упоминаемое им — это время событий, которые всё более и более сгущали тучи над поэтом, над его детищем — журналом «Новый мир», над всем прогрессивным, что было в обществе начала шестидесятых. И в ряду этих событий первым был суд над Синявским и Даниэлем. Твардовский делает большие по объёму записи о своих переживаниях этого времени: «Это была реальность ужасного по существу поворота вещей, в которой уже не оставалось места каким-либо обнадёживающим предположениям...» (4, 2002, 4, 149). Полные горечи слова о крушении надежд вырываются из-под его пера: «Как-то вдруг потускнело значение нашей работы, нашего «либерализма», как выражаются на Западе, всего того, что вызывало такую почту, такую любовь и уважение читателей, уподоблявших нас то «Современнику», то ещё какому классическому образцу» (4, 2002, 4, 149). Твардовский отмечает: «День вынесения приговора 14.П, оказывается, день десятилетия XX съезда (это помечено в настольном календаре, но в газетах ни звука)». «Любит история, между прочим, подкидывать такие неловкие совпадения. Прошло 10 лет — и ещё один период нашей жизни отбыл в прошлое, и нужно считать, что его как бы и не было» (4, 2002, 4, 149).

Ещё одним событием, вызывавшим чувство безысходности, был бойкот в печати только что вышедшего спектакля театра Сатиры по поэме «Тёркин на том свете» и возможного его закрытия. «2-й секретарь МГК Калашникова, сменившая на этом посту моего друга Кузнецова, — пишет Твардовский, — ныне министра культуры РСФСР, подводила к тому, чтобы сам театр (парторганизация) догадался, сознался, раскаялся в идейно-политической ошибке (мягко выражаясь) и снял спектакль (а потом уж снять самого Плучека проще простого)» (4, 2002, 4, 152). И, конечно же, угроза, нависшая над «Новым миром» и над Твардовским как редактором. Первым звонком к этому послужило избрание его делегатом на XXIII съезд партии: «Всё более укрепляюсь в чувстве некоего освобождения от чего-то, обязывавшего в чём-то и чему-то не согласному с совестью, и даже отчасти тщеславного удовлетворения избранием» (4, 2002, 4, 157).

Духовные ценности, которые и для Толстого, и для Твардовского были так важны, всегда исходят из представления народа, его отношения к труду, любви к родной земле. Поэтому герои находят опору в крестьянском труде, нравственно обогащаются причастностью к нему. В дневниках Толстого есть запись, отмеченная Твардовским: «Думал еще: Катерина умирает во время покоса. Событие ничтожное с точки зрения покосников. Покос убрали прекрасно. Какой важности это событие с точки зрения умирающей и умершей Катерины» (11, 19, 426). Такой же смысл вложен Твардовским в стихотворение «Как Данила помирал», когда люди, пришедшие к Даниле, отдав ему почести, спешат к работе: «Говорят: – Прощай, Данила, // Не посетуй, брат, // Дело ждёт, по брёвнам наши // Топоры торчат». (5, 1, 145).

И для Толстого, и для Твардовского и покос, и любая другая работа, которая не может ждать, выше события смерти, она побеждает смерть.

Не случайно Константин Левин, выражающий мысли и идеи самого писателя в романе «Война и мир», находит в этой работе освобождение от своих дурных мыслей и настроений. «Личное дело, занимавшее Левина во время разговора его с братом, было следующее: в прошлом году, приехав однажды на покос и рассердившись на приказчика, Левин употребил своё средство успокоения – взял у мужика косу и стал косить» (13). У Твардовского мотив покоса становится символом жизни и победы над смертью в его знаменитой поэме «Дом у дороги».

Именно покос стал первым знаком окончания войны для Анны в плену, он вызвал в памяти тот, другой довоенный покос, который был в ряду счастливых событий летнего дня и который был так жестоко прерван войной. Только время покоса приносит надежду на новую жизнь, именно к покосу заканчивает Андрей новый дом. Покос лечит душу:

Пошёл солдат с людьми в луга,
Чтоб на людях забыться.

Чтоб горе делом занялось,
Солдат вставал с рассвета
И шире, шире гнал прокос –
За все четыре лета (5, 2, 384).

И хотя несравнимы причины рассерженного Левина и страдающего Андрея Сивцова, по которым они взялись за покос, но схожесть отношения авторов к этому простому и естественному крестьянскому труду явная. Ещё одно совпадение можно обнаружить в сценах покоса: время начинает жить своей жизнью, оно диктует свой ритм, подчиняет человека. Твардовский пишет:

Вслед за косою качал солдат
Спиной от пота серой.
И точно время на свой лад,
Своею мерял мерой (5, 2, 384).

У Толстого: «Левин потерял всякое сознание времени и решительно не знал, поздно или рано теперь» (13, 7, 280), и далее: «Левин не замечал, как проходило время. Если бы спросили его, сколько времени он косил, он сказал бы, что полчаса, – а уж время подошло к обеду» (13, 7, 282).

И барин Левин, и крестьянин Сивцов отдаются работе полностью. Но если для Сивцова этот труд привычен, то для Левина в новинку: «В середине его работы на него находили минуты, во время которых он забывал то, что делал, ему становилось легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита. Но только что он вспоминал о том, что делает, и начинал стараться сделать лучше, тотчас же он испытывал всю тяжесть труда, и ряд выходил дурен» (13, 7, 280). Гармония слияния человека и природы – в труде. Твардовский передаёт её с помощью тех деталей, которые жили в его памяти с детства:

И ты косил её, сопя,
Кряхтя, вздыхая сладко.
И сам подслушивал себя,
Когда звенел лопаткой:

Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой –
И мы домой.

Таков завет и звук таков,
И по косе вдоль жала,
Смывая мелочь лепестков,
Роса ручьём бежала (5, 2, 337).

То, что для Сивцова естественно, для Левина ново и значительно. «Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали косою, а сама коса двигала за собой всё сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчётливая делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты» (13, 7, 282). Полнота жизни, которую испытывал Левин на покосе, приносила ему ощущение счастья. Для Сивцова покос в начале поэмы в довоенном дне – и естественная работа и счастье одновременно:

И с мягким махом тяжело
Косьё в руке скрипело.
И солнце жгло,

И дело шло,
И всё, казалось, пело:

Коси, коса
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой (5, 2, 337-338).

В конце поэмы — забвеньё, ожидание и надежда, что всё вернётся на круги своя:

И добрым ладом шли часы,
И грудь дышала жадно
Цветочным запахом росы,
Живой травы из-под косы —
Горькавой и прохладной.

И сладкий пёк июльский зной,
Как в годы молодые (5, 2, 384).

Рефрен поэмы: «Коси, коса, // Пока роса, // Роса долой — // И мы домой» соединяет прошлое, настоящее и будущее, создаёт ощущение целостности жизни, утверждает возможность будущего счастья.

Твардовский подчёркивает странную запись Толстого в дневнике: «15 сентября. Ясная Поляна. 90. Все то же. Не брался писать. Утром сказали, что Павел умер. Лег в клетки у Алексея на прелую солому и умер. Хорошо» (11, 19, 437). Стоящие рядом два слова «умер» и через точку «хорошо» (именно это и подчёркнуто Твардовским) кажутся настолько противоречивыми, даже жестокими, но это входит в восприятие смерти у Толстого. Твардовский в размышлениях о смысле жизни и роли смерти высказывал мысль о том, что «не будь жизнь конечна и коротка, невозможно было бы познание и творчество, — незачем, а тут сроки ближе или дальше, но они положены, а это обязывает хватывать, поспевать хоть что-нибудь, чего, однако, без тебя, м[ожет] б[ыть], никто не хватит, не успеет внести в общий фонд. — Поэзия, музыка, все искусство, все творчество, все полеты мысли человеческой обязаны своим развитием одному из условий, самому жестокому и безоговорочному из условий жизни — ее конечности и скоротечности. И как ни жалко человечества, что оно поставлено в столь жесткие условия, но пожелать иных — вечности и бесконечности личной жизни — невозможно. Не случайно, между прочим, что «на том свете» «вечность вечностью течет» и там ничего «нету» и не будет» (4, 2002, 4, 158). Эта запись является продолжением записи об «арзамасском ужасе». Смерть — это предел, который определяет ценность жизни. «...Вечный русский вопрос — о смысле жизни — ставит и вопрос о смерти, через которую уясняется (или не уясняется) смысл

человеческого существования» (10, 74). В статье «Зеркало и смерть» В.Л. Рабинович отмечает эту идею у разных писателей: «Смерть, если всерьез внять Марине Цветаевой, — самое верное свидетельство того, что ты действительно жил. Что жизнь была. Что была эта — твоя — жизнь.

Или — родственное: «Неужели я настоящий, // И действительно смерть придет?» (Мандельштам).

Жалко себя настоящего. Потому что только настоящее смертно» (14).

Спокойное, осознанное отношение к смерти как закономерному исходу человеческой жизни у Твардовского связано с пониманием значения творчества, как проявления жизненной энергии человека и желания оставить на земле свой след, остановить мгновение. Именно Толстого и его творчество выбирает Твардовский в качестве примера для объяснения смысла жизни и смерти: «О «Войне и мире» (зачем искусство, литература? — запечатлеть, закрепить в преходящей жизни её главные черты — подтвердить в ней доброе, отринуть дурное)». (2, 8, 136).

О значении творчества для понимания смысла жизни у многих писателей говорит в своём исследовании Я.И. Гилинский: «Осознание смертности — важнейший импульс человеческой активности, Творчества. Страх смерти — источник философии, науки, искусства, религии. Т. Манн объяснял творчество Л. Толстого: «Что же было всему основой? Плотский страх смерти». О страхе смерти как источнике искусств пишет Д. Лихачев. И не является ли сей текст плодом подсознательного желания автора (скептика, атеиста) продлить бытие в Слове—после смерти?!..» (15).

Известен конфликт Твардовского с Конёнковым, который высказывал мысль о собственном бессмертии. По воспоминаниям Кондратовича, Твардовский говорил о назначении искусства в связи с проблемой смерти: «Одна из задач искусства — закрепить время и людей во всей их неповторимости, закрепить так, чтобы они жили и оставались живыми и для последующих поколений, когда от самих художников и праха-то не останется» (16). (Об этом же написано и стихотворение «Есть что-то в долголетье необычном»). Знание смерти — для полноты жизни, — утверждает Твардовский: «Но ясное и мужественное сознание пределов, которых не миновать, вместе с жизнелюбием и любовью к людям, — писал он в статье «О Бунине», — чувство ответственности перед обществом и судом собственной совести за всё, что делаешь и должен успеть сделать на этом свете, — позиция более достойная, чем самообман и бездумная трата скупой отпущенной на всё про всё времени». (5, 5, 76-77). Твардовский не раз так или иначе возвращался к этой мысли

в «Рабочих тетрадах». Так, в 1965 году он записывает: «Критика (скорбная) обидного и жестокого мироустройства (жизнь — смерть) как бы имеет предложить некий иной вариант: бессмертие, например, или жизнь до 360 лет. Все — ерунда. Все возвращается к тому, чтобы решать вопросы социального мироустройства, омрачающего и без того краткую жизнь несправедливостями, страданиями, ранней смертностью детей, ранним старением и болезнями и т.д. (4, 2001, 12, 133). В 55 лет поэт вновь высказывает ту самую мысль, которую записал в 17-летнем возрасте о смысле жизни. Для Твардовского невозможно не жить в полном смысле этого слова, т. е. «не бороться за лучшую жизнь людей, не стремиться к истине». Он задумывается о смысле долголетия, при этом вновь вспоминая Толстого и примеривая на себя его судьбу: «А жить-то, м[ожет] б[ыть], гораздо менее того, что грубо предполагашь. До 70 еще можно прикидывать, а дальше — что ж — 75? 80? Конечно, долголетие — благо, но чтение дневников Толстого (совпади так, что в эти дни такое чтение!) дает картину того, как и муторно «готовиться к смерти», даже будучи Толстым» (4, 2002, 9, 175).

Все исследователи рассказа Толстого «Три смерти» говорили о том, что для писателя мерилом жизни является человек труда, живущий природной жизнью. «Истинность существования обуславливается близостью к природе: по ней проверяется и правда жизни», — пишет Заманская, исследуя смысл человеческого существования в рассказе Толстого «Три смерти». И далее: «Правда — «смерть моя пришла — вот что»: мудро, спокойно, без суеты, в душевном успокоении. Правда — это здоровая жизнь, оправданная трудом» (10, 75). Обратимся в связи с этим к известному циклу Твардовского про деда Данилу. Дед Данила, человек, проживший не очень счастливую, но честную, трудовую жизнь, становится самым любимым и известным стариком Твардовского. Одна из главных идей этого цикла — любовь к труду оказывается сильнее смерти. Не зря Твардовский напоминает слова Толстого: «Л.Н.Толстой говорил, что жить можно, только если работать, а работать — если работа уже сделана наполовину и хороша» (4, 2003, 10, 151). И сам вторит ему: «Жить для меня значит — сочинять, «копать», продвигаться так ли, сяк ли дальше, оставляя какой-то кое-как хотя бы взрытый след» (2, 8, 155).

Юмористическая ситуация одного из стихотворений «Как Данила помирал», когда живой старик лёг в собственноручно сделанный гроб и выслушивает всё, что о нём говорят односельчане, оборачивается серьёзным размышлением о жизни и смерти в пользу жизни. В юмористическом тоне, как и весь цикл, стихотворение это повествует

о тех же ценностях, что и рассказ Толстого. Всё нравится деду Даниле в тех речах, которые ведутся над его гробом в разыгранной им же самим сцене своих похорон, и то, что он много трудился, и то, каких сыновей оставил, и даже то, что «был покойник выпить не дурак». Он, может быть, даже и умер бы спокойно, например, так как умирал дед самого Твардовского Гордей:

Мне памятно, как умирал мой дед,
В своём запечье лёжа терпеливо,
И освещал дорогу на тот свет
Свечой, уже в руке стоявшей криво (5, 1, 66).

И только намёк на то, что Данила может уступить в силе молодым заставляет его вернуться к жизни.

Не желаю ваш постылый
Слушать разговор.
На леса! — кричит Данила. —
Где он, мой топор?! (5, 1, 46)

Даниле не жаль было оставлять достаточно сытую и спокойную жизнь:

Вволю хлеба, вволю сала,
Сыт, обут, одет (5, 1, 144).

Он и умирать решил только потому, что «Не дают работать деду, говорят: — Гуляй».

А гулять бесперемменно —
Разве это жизнь? (5, 1, 144)

Несколько раз возвращается Твардовский к образу деда Данилы: два стихотворения написаны в 1937, два в 1938 и, наконец, в 1939 он пишет стихотворение «Дед Данила в лес идёт», в котором главный герой предстаёт философом, размышляющим о жизни и в котором он думает уже о нешуточной смерти:

Вот зима пришла, — подумал,
Постоял. — За мной пришла (5, 1, 217).

Но заканчивается оно не на трагической ноте, а словами, которые выражают ту же мудрость, что и известное изречение Толстого: «Делай, что следует, и будь что будет»:

Дослужи, Данила, честно,
Дальше дело не твоё (5, 1, 217).

Ещё одна важная мысль, которая и у Толстого, и у Твардовского смыкается с народным представлением о долге человека перед жизнью на

краю смерти. Толстой пишет 9 июня 1903 г.: «Умирать пора, а я задумываю» (11, 20, 172). Толстому было 75 лет, а умер он через 7 лет. У Твардовского в записях за 1959 год 16.VI. сказано по поводу пришедшей ему строфы для стихотворения «Новоселье», сказано по-другому, но мысль та же.

Впрочем, что же: дом — хозяйство.
Есть завет на случай сей:
Ты хоть завтра собирайся
Помирать, а жито сей!

И далее: «Конечно, эта строфа слабее предыдущей, но и в ней есть свой поэтический резон. Эту поговорку «Умирать собирайся, а жито сей» я знаю с детских лет. В ней некая мудрость необходимости жить, делать, думать о завтрашнем дне — не для себя, так для других (2, 9, 147).

С мыслью о смерти и у Толстого, и у Твардовского связано их ощущение конечности и скоротечности времени. В дневнике Толстого находим строки, отмеченные Твардовским: «Жить до вечера и до веку. Жить так, как будто доживаешь последний час и можешь успеть сделать только самое важное. И вместе с тем так, как будто то дело, которое ты делаешь, ты будешь продолжать делать бесконечно» (11, 19, 492). Стихотворение «Что нужно, чтобы жить с умом» выражает ту же мысль:

Хоть про сейчас, хоть про запас,
Но делать так работу,
Чтоб жить да жить,
Но каждый час
Готовым быть к отлёту (5, 3, 207).

«Отлёт» Толстого случился, когда ему было 82 года в 1910 году в глубокой старости, в том же году родился Твардовский (в 2010 году будем отмечать 100-летие со дня смерти Толстого и 100-летие со дня рождения Твардовского — знаковое совпадение!), умер же в 60 с половиной лет на взлёте своего творчества. В дневнике Толстого Твардовский отчёркивает несколько его наблюдений о болезни и об умирании. Он наблюдает за собой так же пристально, как и за другими: «при страдании, в умирании невозможна деятельность мысли», или «Как трудно покорно переносить болезнь — идти к смерти без противления, а надо» (12, 20, 117).

В январе 1955 года есть запись Твардовского в «Рабочих тетрадях» о чтении писем Толстого: «Болезнь, почитывал «Письма» Толстого по Академическому изданию, читаю 3-й том, а всего их 29! Какая объёмность всего и мелочность, и всечеловечность, и пустяки, и много, много всего. Какое неусыпное бдение над собой, над каждым поступком, движением души, какая непрямота, сложность пути. Пустые слова.

Потихоньку выходя из уныния и мучительной бездеятельности, стал думать, как буду дальше быть» (2, 7, 153). Однако это «бдение» свойственно и самому Твардовскому, что подтверждают, например, постоянные на протяжении всех страниц «Рабочих тетрадей» размышления о времени и возрасте.

Мы не можем знать, когда точно читал Твардовский те или иные страницы дневника Толстого. А.И. Кондратович в своё время, размышляя об этих отметках в дневниках Толстого, прокомментировал некоторые из них. Так, одна из самых трагических мыслей Толстого, отмеченная Твардовским, поразила его больше всего: «И вдруг — как удар. «Думаю — не последнее ли доживаю лето». Эти слова упали на меня всей своей резкой, оглушающей тяжестью. Для меня они уже были не из книги. Никому и никогда бы он их вслух не сказал: он не любил жаловаться и начисто был лишен малейших признаков мнительности. Если он чего-либо боялся и всячески избегал, так врачей и больниц, и это было сушей бедой для близких, и, прежде всего для него самого.

А эти слова были подчеркнуты ровно, спокойно, и теперь я несколько не сомневался, что это были его никому не сказанные слова» (17).

Двумя чертами с двух сторон отметил Твардовский размышление Толстого о страхе смерти: «1) Боюсь ли я смерти? Нет. Но при приближении ее или мысли о ней не могу не испытывать волнения вроде того, что должен бы испытывать путешественник, подъезжающий к тому месту, где его поезд с огромной высоты падает в море или поднимается на огромную высоту вверх на баллоне. Путешественник знает, что с ним ничего не случится, что с ним будет то, что было с миллионами существ, что он только переменит способ путешествия, но он не может не испытывать волнения, подъезжая к месту. Такое же и мое чувство к смерти» (11, 20, 180).

Большинство заметок Твардовского на полях дневников Толстого связано с темой жизни и смерти. Многие они могут сказать нам и об отношении Твардовского к Толстому, и об общности взглядов двух писателей. Многие можем понять и мы, благодаря этой переключке великих умов, переключке эпох, переключке человеческих душ. Вечные проблемы жизни и смерти потому и вечны, что невозможно разрешить их до конца, и именно потому они и привлекательны для людей мыслящих.

Представленный в статье материал далеко не охватывает всех параллелей в жизни и творчестве Толстого и Твардовского. Для нас было важным показать, что философские проблемы бытия объединяют разных и по времени, и по творческим задачам художников, делая их собеседниками и единомышленниками. Ведь не случайно Твардовский написал: «Мы слышим в вечности друг друга // И различаем голоса» (5, 3, 81).

ЛИТЕРАТУРА

1. Акаткин В.М. Предваряя разговор... / В.М. Акаткин // А.Т. Твардовский и русская поэма XX века : материалы международной научной конференции. – Воронеж, 2008. – С. 3.
2. Твардовский А.Т. Из рабочих тетрадей / А.Т. Твардовский // Знамя. – 1989. – № 8 – С. 131. (Далее цитирую по этому изданию с указанием в тексте номера и страницы).
3. Бицилли П.М. Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого / П.М. Бицилли Трагедия русской культуры. Исследования, Статьи, Рецензии. – М., 2000. – С. 177.
4. Твардовский А.Т. Рабочие тетради 60-х годов / А.Т. Твардовский // Знамя. – 2002. – № 4. – С. 157. (Далее цитирую по этому изданию с указанием в тексте года, номера и страницы).
5. Твардовский А.Т. Собр. соч. : в 6-ти т. / А.Т. Твардовский. – М., 1978. – Т.3 – С. 207 (Далее цитирую по этому изданию с указанием в тексте тома и страницы).
6. Киреев Р.Т. Великие смерти: Гоголь. Л. Толстой. Чехов / Р.Т. Киреев. – М., 2004. – С. 56.
7. Твардовский А.Т. Рабочие тетради / А.Т. Твардовский // Литературное наследство Из истории советской литературы 1920-1930-х годов. – М., 1983. – Т. 93. – С. 328 (Далее цитирую по этому изданию с указанием в тексте страницы).
8. Твардовская М.И. Колодья / М.И. Твардовская // Воспоминания об А.Т. Твардовском. – М., 1978. – С. 43-44.
9. Македонов А. Творческий путь Твардовского / А. Македонов. – М., 1981. – С. 142.
10. Заманская В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. Диалоги на границах столетий / В.В. Заманская. – М., 2002. – С. 73.
11. Толстой Л.Н. Дневник // Толстой Л.Н. Собр. соч. : в 20-ти т. – М., 1965. – Т. 20. – С. 11 (Далее цитирую по этому изданию с указанием в тексте тома и страницы).
12. Полякова Л.В. Эпическая стратегия «Лирической хроники» А.Т. Твардовского «Дом у дороги» / Л.В. Полякова // А.Т. Твардовский и русская поэма XX века / Воронеж, 2008. – С. 96.
13. Толстой Л.Н. Анна Каренина // Л.Н. Толстой. Собр.соч. : в 12-ти т. – М., 1987. – Т. 7. – С. 276 (Далее цитирую по этому изданию с указанием в тексте тома и страницы).
14. Рабинович В.Л. Зеркало и смерть / В.Л. Рабинович // Фигуры Танатоса: Искусство умирания : сб. статей. – СПб., 1998. – С. 5-11.
15. Гишинский Я.И. Тема смерти – тема жизни: философия социологии / Я.И. Гишинский // Фигуры Танатоса. Философский альманах. Пятый специальный выпуск. – СПб., 1995. – С. 65.
16. Кондратович А.И. «Ровесник любому поколению» : документальная повесть / А.И. Кондратович. – М., 1984. – С. 217-218.
17. Кондратович А.И. Александр Твардовский. Поэзия и личность / А.И. Кондратович. – М., 1978. – С. 343-344.

Туманова С.Р.
Российский университет дружбы народов.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка медицинского факультета.
e-mail: svetla-tumano@yandex.ru

Tumanova S.R.
Russian University of Peoples Friendship.
Assistant Professor of Department of Russian language
of medical faculties.